

5. Бродский Н. Л. «Евгений Онегин», роман А. С. Пушкина. М., 1957.
6. «Eugene Onegin», A Novel in Verse by A. Pushkin, Transl. from the Russian, with a Commentary, by V. Nabokov. Princeton, 1975. Vol. 3.
7. Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1983.
8. Томашевский Б. В. Пушкин. Т. 2. М.; Л., 1961.
9. Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 1., 1949.
10. Shaw J. Th. Pushkin's Rhymes: A Dictionary. Madison, Wisconsin, 1974.
11. Баевский В. С. О театральных строфах «Евгения Онегина» // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 20. Л., 1986.
12. Баевский В. С. Из комментария к «Евгению Онегину» // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 21. Л., 1987.
13. Баевский В. С. Имя собственное в рифмах «Евгения Онегина» // Пушкин: Проблемы творчества, текстология, восприятие. Калинин, 1989.
14. Баевский В. С. Из заметок о тексте «Евгения Онегина» // Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992.
15. Баевский В. С. Сквозь магический кристалл: Поэтика «Евгения Онегина», романа в стихах А. Пушкина. М., 1990.

А. А. СЛЮСАРЬ

(Одесса)

О ПСИХОЛОГИЗМЕ В «МЕТЕЛИ» А. С. ПУШКИНА

«Метель» была написана последней из «белкинских» повестей, и, следовательно, замысел цикла, явившегося первым завершённым созданием А. С. Пушкина в прозе, своеобразии психологизма определились в ней окончательно. Это психологизм особый: жизнь «внутреннего человека» в нем еще не стала предметом подробного воспроизведения. Поэтому его существование нередко вообще отрицается. Так, А. Лежнев утверждал, что Пушкин «...доводит русскую литературу до новой, «обетованной» земли, но сам в эту землю не вступает» [1, с. 192]. А между тем в русской литературе наступало время романа, воспринимавшегося как «...разложение души, история сердца» [2, с. 145]. Но у «истории» свои этапы. Русская психологическая проза начнется с «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова, в котором впервые воплотится тип психологизма, свойственный русской литературе второй половины XIX века. «Повести Белкина» А. С. Пушкина принадлежат к иному типу психологизма, сложившемуся не только в русской литературе, а и в западноевропейских ли-

тературах того времени. Примечательна в данном отношении позиция В. Скотта, писавшего в «Уэверли», что сосредоточит внимание в своем романе на «характерах и страстях действующих лиц» [3, с. 70]. Затем Н. Г. Чернышевский, перечисляя «направления», существовавшие в психологическом анализе до Л. Н. Толстого, начал с «очертаний характеров», а закончил «анализом страстей» [4, с. 422—423].

В настоящем психологический анализ рассматривается как составная часть психологизма, характеризующаяся осознанностью применения (А. Н. Иезуитов, В. В. Компаниец, В. В. Фашенко и др.). Думается, что, наряду с аналитической стороной, следует признать в психологизме и другую сторону: синтетическую. Понятно, что ей присущи категории универсальные для литературного отображения. К ним обращаются прежде всего авторы, высказывающие общий взгляд на литературный процесс. Так, М. М. Бахтин в статье «Эпос и роман», говоря о возникновении романа, отмечает отображение в нем сложного, противоречивого единства индивидуального и родового. Диалектика их отношений обуславливает в конечном счете способ отображения личности, а значит, и тип психологизма. В дальнейшем в названной работе рассматривается соотношение статичного и динамичного у индивидуальности, воссоздаваемой в античной эпопее и романе, цельности и раздвоенности, внешнего и внутреннего [5, с. 455—481]. К этому следует добавить соотношение сознательного и бессознательного, определяющее структуру личности едва ли не в первую очередь. Итак, характеризуя психологизм с его синтетической стороны, можно, очевидно, исходить из соотношения таких категорий как индивидуальное и родовое, цельность и раздвоенность, бессознательное и сознательное, статическое и динамическое, внешнее и внутреннее. Они передают различие между исторически сложившимися типами психологизма, отражающими человеческий материал в соответствии с мировоззрением и художественным миропониманием писателя.

Психологизм, возникший в русской литературе первой половины XIX века, отразил разрыв патриархальных отношений и пробуждение в широких общественных кругах самосознания: национального, общественного, личностного... Переход же к новому типу психологизма произошел в связи с распространением реф-

лекции, воссозданной в 30-е гг. наиболее полно Лермонтовым.

Пробуждавшееся личностное самосознание представлено в «Повестях Белкина» такими формами его как «гусарство» («бытовое вольномыслие», по выражению Ю. М. Лотмана [6, с. 53]): «романичность» и романтизм. Их смысл состоял в том, что индивидуальность, стремясь преодолеть «случайность» своего существования и возвыситься до духовного бытия человечества, избирала «историческую» роль [7, с. 47], в соответствии с которой моделировала свой облик, поведение, весь образ жизни. В «Метели» это в основном — романичность, заключающаяся в следовании персонажам романов Просвещения и предромантизма. Так как индивидуальность, сообщая своему «я» черты личности, воплощавшей ее идеал, растворялась при этом в «родовом», то ее поведение оказывалось стереотипным.

Героиня «Метели» «...была воспитана на французских романах и, следовательно, была влюблена» [8, т. 6, с. 102]. Поведение ее и героя новеллы настолько жестко подчинено «романической» схеме, что все их поступки заранее predeterminedены. Отсюда — «следственно», «разумеется», «естественно», «разумеется»... Пародируются в новелле не только «причинно-следственные отношения», выражающие сущность не индивидуальности, а избранной «маски», но и другие проявления «романичности», заставлявшей, подобно романтизму, вставать на котурны, создавать для себя вымышленный мир, прибегать к языку символов, постоянно пребывать в состоянии эмоциональной напряженности. Марья Гавриловна и Владимир Николаевич «клялись друг другу в вечной любви», будущие «свидетели» на тайном венчании «не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью» [8, т. 6, с. 106]. Примечателен облик одного из них: «землемер Шмит» — «в усах и шпорах», хотя никакого отношения к кавалерии не имел. Данный тип личности будет затем выведен в «Двух гусарах» Толстого в лице «отставного кавалериста», всерьез поверившего собственному вымыслу о своем гусарском прошлом. Но все это были попытки преодолеть случайность существования.

Внешний характер моделирования личности превращал его в игру. Нет необходимости говорить о многофункциональности и, следовательно, разнообразии ис-

толкований этого явления. Отметим лишь, что Кант рассматривал игру в связи с проблемами свободы и целостности личности [9, с. 219, 350—352]. Шиллер, развивая его идеи, утверждал: «...человек играет только тогда, когда он в полном значении человек, и он **бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет**» [10, с. 335]. Недаром тема игры, в частности такой ее формы как карнавальность, заняла ведущее место в исследованиях М. М. Бахтина. В «Метели» воссоздана миметическая игра, состоящая, в отличие от карнавальности, не в воспроизведении синкретичной целостности мира, а в подражании индивидуальности, воспринимаемой как образец, представляя, таким образом, «...результат усиления **личностного**, дробления природно-целостного начала» [11, с. 284]. Именно в игре, подражая романической героине, Марья Гавриловна отвлекается от своей социальной роли с ее прозаичностью и узостью, ощущает себя человеком — разумеется, таким, каким он изображен в сентименталистских и предромантических романах, — и получает возможность следовать не материальному интересу, а чувству. И она играет в неравную любовь, а затем в вечную верность то ли мертвому жениху, то ли неизвестному мужу...

Поэтому, вынужденная отказать Бурмину, она наслаждалась предвкушением предстоящей сцены, готовя «развязку самую неожиданную» и с нетерпением ожидая «минуты романического объяснения». Превращение жизни в роман придавало особый смысл каждому ее мгновению. Настоящий же апофеоз Марья Гавриловна переживает, когда решительная минута наступила: «Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящею героинею романа» [8, т. 6, с. 115]. И это было не просто подражанием, а перевоплощением. Поэтому, когда она, слушая объяснение Бурмина, «...вспомнила первое письмо St.-Preux», то это ее ни сколько не смутило. Ведь в этот момент Бурмин и она были в самом деле Сен-Пре и Юлией.

Но игра не выводит героиню пушкинской новеллы за пределы привычного уклада жизни, поэтому возникают ситуации обманутого ожидания. Описав метельную ночь, когда Марья Гавриловна «навсегда» оставляет родительский кров, автор заявляет:

«Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается.

А ничего».

Родители утром, как обычно, выходят в гостиную и узнают, что их дочь «...сейчас придет... В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и маменькой» [8, т. 6, с. 109—110].

Похоже, что существуют два разных мира: один тот, который представлен в восприятии индивидуальности, и другой, ей недоступный, по крайней мере в данный момент. В. Н. Турбин говорит о мотиве «ослепления» у Пушкина и Гоголя, связывая его с уходящей культурой барокко [12, с. 52—88]. Но, очевидно, вопрос о границах познания, о субъективности восприятия встал, когда в центр мира выдвигается индивидуальность «Метель» же в данном отношении завершает развитие мотивов «Бесов», с которых для ее автора началась «болдинская» осень. В обоих произведениях изображение метели является символом сложности, запутанности, непредсказуемости жизни, разгула ее стихийных сил. Помрачение происходит не только в мире («мутно небо, ночь мутна»), а и в сознании («В поле бес нас водит, видно, Да кружит по сторонам»).

Конструкция, выстроенная в сознании, выверенная расчетом, приобретает иной, неожиданный вид, столкнувшись с действительностью. Пять верст, отделяющие Ненародово от Жадрина, были преодолены благополучно Марьей Гавриловной, несмотря на метель, благодаря искусству кучера Терешки; Владимиру же было всего лишь двадцать минут езды, а он выехал, проявив предусмотрительность, на два часа раньше. Но в измерении пространства единицами времени, заключено противоречие, которое разрастается в катастрофу. И тогда связь между временем и пространством для Владимира распадется.

В жизнь героев, строившейся по романической схеме, вторгается неожиданное, со стереотипом сталкивается случай, обнаруживающий индивидуальность своей природы. Не пройдет и двух недель после завершения «Метели», как Пушкин в незаконченной статье об «Истории русского народа» Н. А. Полевого будет писать о невозможности «...предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения» [8, т. 7, с. 144]. Непреодолимый, как необходимость, обнаруживающаяся с неожиданной, непознанной стороны, он оказывается в пушкинских произведениях сродни индивидуальному началу и развязывает таящиеся в нем силы.

Стереотип, на котором Владимир строил свое поведение, рушится, и возникает потребность в осмыслении возникшей ситуации. В. В. Виноградов отмечает «единство картины метели и восприятия ее героем. Передается, в частности, «...непрестанная регистрация протекающего времени» [13, с. 458]. В сознании Владимира время расщепляется: оно представляется цикличным, повторяющимся до бесконечности («сани поминутно опрокидывались», а сам он «поминутно был по пояс в снегу»), оставаясь вместе с тем линейным, неумолимо приближающимся к моменту, когда он должен быть в Жадрине. Поэтому изображение блужданий является и воссозданием «потока сознания». Отсюда — несобственно-авторская речь. Повествование психологизируется, передавая душевное состояние героя: «Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а поля не было конца... Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать...» [8, т. 6, с. 107—108].

Ограниченность мирка, создаваемого индивидуальностью, подчеркивается композиционными средствами. Если в «Гробовщике» повествователь присоединяется к точке зрения героя, что позволяет ему скрыть переход от яви к сновидению, то в «Метели» он, оставив Владимира, добравшегося лишь к утру в Жадрино, вступает на точку зрения среды, окружающей Марью Гавриловну. В связи с этим читатель оказывается таким же непосвященным в события, происшедшие в церкви, как и родители героини, и вместе с ними недоумевает, узнав, что Владимир ответил на их приглашение отказом. И точно так же, как и новые соседи, не знает, отчего «...Марья Гавриловна качала головой и задумывалась», когда мать «...уговаривала ее выбрать себе друга». Оставалось предполагать, что она верна памяти мертвого жениха.

Н. Я. Берковский даже утверждает, что «Метель» полемична по отношению к новелле В. Ирвинга «Женит — призрак» [14, с. 289], герой которой инсценирует миф о «мертвом женихе». Но при этом не вполне учтена роль бессознательного в пушкинской «повести». Вообще, отображение этой формы мышления в прозе Пушкина мало изучено. Едва ли не исключением является работа М. О. Гершензона, в которой отмечена двучастность снов в пушкинских произведениях, обусловленная переходом от внутреннего состояния персонажа к угадыванию будущего [15, с. 96—110].

Действительно, из вереницы «бессмысленных видений», пронесившихся перед Марьей Гавриловной во сне в ночь, предшествующую побегу, выделены два: в первом выражено чувство страха, второе же — «вещное». При этом оба проникнуты общим для них настроением и основаны на «архетипах» книжного происхождения. Сначала Марье Гавриловне снилось, что отец бросал ее в «темное бездонное подземелье». В. Э. Вацура пишет: «Мотив «женщины в подземелье» становится ...одним из центральных в типовой сюжетной схеме «готического романа» [16, с. 203]. Во втором же «видении» появляется мотив «мертвого жениха». Марья Гавриловна видела окровавленного Владимира: «Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться...» [8, т. 6, с. 104]. Так возникает связь с эпиграфом, заимствованным из «Светланы» В. А. Жуковского, в которой трагестируется баллада Бюргера «Ленора», основанная на мифе о «мертвом женихе».

Другая разновидность бессознательного, состоящая в сомнамбулизме, или «магнетизме», передана в исповеди Бурмина. Он рассказывает: «...непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал... я не вытерпел... и поехал в самую бурю» [8, т. 6, с. 116]. Так как ямщик сбился с пути и очутился в «незнакомой стороне», то ощущение зависимости усилилось. Характеризуя в «Философии духа» бессознательное как переходное состояние между природным и духовным, Гегель останавливается и на таком его проявлении как «магнетизм»: в нем «...организм раскрывается в своей конечности, бесилии и зависимости от чуждой силы...» Поэтому между **«чувствующей природной жизненностью и ... рассудочным сознанием возникает разрыв»** [17, с. 164]. В этом состоянии внутренней несвободы и раздвоенности Бурмин подъезжает к церкви и попадает в особое «психологическое пространство», диктующее ему свое поведение. Его зовут несколько голосов, торопят, священник просит позволения начинать... Разрешив приступить к исполнению обряда, он только после этого разглядел невесту, показавшуюся ему «недурной». Герой «жениха-призрака», оказавшись в сходной ситуации, действует осознанно...

Бессознательно и поведение других участников венчания. Для них, занятых совершением обряда, исчезает различие между ролью жениха и исполняющей ее индивидуальностью. Подобный акт отождествления был уже изображен в «Барышне-крестьянке»: герой, считая

свою возлюбленную крестьянкой, не узнал ее в барышне. Возникает ситуация, в которой все определяет «установка» ее участников. Они видят не то, что происходит, а что должно происходить.

Гегель указывал, что непосредственное знание обнаруживают люди, если они «...не преследуют еще никаких **«всеобщих»** целей, но интересуются только своими **индивидуальными** отношениями и достигают своих **случайных особых** целей без основательного понимания природы отношений, подлежащих их рассмотрению, в косном подражании древней традиции...» [17, с. 161]. Между тем в жизнь героев «Метели» вторгается «всеобщее». И не только посредством романов... Через произведение проходит тема войны 1812 года, с которой, собственно, и началось «...движение в неподвижном мире» [14, с. 256]. Владимир и Бурмин становятся ее участниками, и эта встреча с историей сообщает им поэтичность. Говоря о возвращавшихся из заграничного похода, повествователь отмечает их возмужалость. Иным, следовательно, становится и Бурмин, бывший некогда «ужасным повесою». И тогда происходит узнавание: разрозненные клочки действительности, известные персонажам, объединяются в общую картину. Так субъективность перерастает в объективность видения.

Вместе с тем усиливается индивидуализация в отображении персонажей. Известно, что Пушкин не придавал значения внешнему в такой мере, как это будут делать Гоголь и особенно Лермонтов, растворяя его обычно во внутреннем. Ничего не сказано о внешности Владимира, представленного в основном своей страстью, о которой, впрочем, говорится в книжных выражениях, и блужданиями в метельную ночь. О Марье Гавриловне известно, что она «стройная, бледная и семнадцатилетняя девица». Похоже, что повествователь увидел ее издали и передал лишь общее впечатление молодости и мечтательности. Недаром отмечено, что она «бледная». Героиня «Барышни-крестьянки» была убеждена, что лицо у ее необычного молодого соседа «бледное». Поэтому **«интересная бледность»** раненого Бурмина подчеркнута: эти слова выделены курсивом. Его внешность также передана в общих чертах, воссоздающих облик героя войны. О нем сказано: «раненый полковник Бурмин, с Георгием в петлице...» [8, т. 6, с. 113]. Но затем будет отмечена его бледность, указан его возраст и будут охарактеризованы душевные свойства («...ум приличия и наблюдения...»). Даже бу-

дет сообщено при случае, что у него «черные глаза». По сравнению с изображением Владимира, все это выглядит подробной характеристикой. Наконец, ему будет предоставлено слово для «исповеди», в которой признание в «ужасной тайне» превратится в историю души. По крайней мере один из ее моментов будет подвергнут рефлексии.

Психологизм Пушкина явился высшим выражением того видения «внутреннего человека», которое сложилось в русской литературе первой трети XIX века в связи с отображением пробуждавшегося в русском обществе самосознания. Понятно, что внимание сосредоточивалось при этом на воссоздании общественной психологии. Тем более, что индивидуальность только начинала заявлять о своей неповторимости и связывала ценность своего «я» со способностью слить его с идеальным типом личности, нередко книжного происхождения. Это подражание, означавшее приобщение к «субстанциальному», способствовало развитию игрового поведения. Но в нем слишком многое оставалось случайного, что находило выражение в субъективности мировосприятия, в особой роли бессознательного. Воссоздание его выражало вместе с тем тенденцию, состоявшую в стремлении передать сложность индивидуальности.

Примечания

1. *Лежнев А.* Проза Пушкина. Опыт стиливого исследования. Изд. второе. М., 1966.
2. *Бестужев А. А.* О романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем» // Эстетика и критика декабристов. Сост. Л. Г. Фризман. М., 1991
3. *Скотт В.* Собр. соч. — В 20 т. М.—Л., 1960, т. 1.
4. *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. В 15 т., М., 1947, т. 3.
5. *Бахтин М. М.* Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
6. *Лотман Ю. М.* Декабрист в повседневной жизни // Литературное наследие декабристов. — Л., 1975.
7. *Гинзбург Л. Я.* О литературном герое. — Л., 1979.
8. *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. В 10 т. М., 1962—1966.
9. *Кант Им.* Критика способности суждения // Соч. В 6 т. М., 1966, т. 5.
10. *Шиллер И. Х. Ф.* Письма об эстетическом воспитании человека // Собр. соч. В 8 т., М., Л., 1950, т. 6.
11. *Эпштейн М. Н.* Парадоксы новизны. М., 1988.
12. *Турбин В. Н.* Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Об изучении литературных жанров. М., 1978.
13. *Виноградов В. В.* Стиль Пушкина. М., 1941.
14. *Берковский Н. Я.* О «Повестях Белкина» // Статья о литературе, М., Л., 1962.
15. *Гершензон М. О.* Статьи о Пушкине. М., 1926.

16 Вацуро В. Э. Литературно-философская проблематика повести Карамзина «Остров Борнгольм» // XVIII век. Сб. 8. Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX века Л, 1969.

17 Гегель Г. В Ф. Энциклопедия философских наук Л, 1977, т. 3.

З. В. КИРИЛЮК

(Киев)

СИСТЕМА ПОВЕСТВОВАНИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ХАРАКТЕРОВ В ПРОЗЕ ПУШКИНА

Многоаспектная проблема повествования сравнительно недавно привлекла внимание пушкинистов, тем не менее уже освещены основные ее грани, изучаются важнейшие тенденции эволюции поэтики повествования [5]. Накопленный опыт позволяет поставить задачу рассмотрения роли повествования в раскрытии внутреннего мира героев и в построении характеров.

В суждениях Пушкина на неразвитость русской прозы, неразработанность средств «изъяснения понятий самых обыкновенных» [7, 18], на напыщенность, описательность [7, 14] и непонимание прелести «благородной простоты» слога [7, 80] далеко не исчерпан перечень трудностей, которые стояли на пути развития прозы в 20-е годы XIX века. Трудности поисков адекватного выражения в художественном тексте эмоций, о чем говорил В. Жуковский в стихотворении «Невыразимое», в прозе подчас обретали непреодолимый характер.

Работа Пушкина над прозаическими произведениями — непрерывный процесс формирования и совершенствования средств создания литературного характера. Организация повествования играла в этом немаловажную роль. Для первого прозаического опыта Пушкина — романа «Арап Петра Великого» характерна «ненайденность, нерегулярность в выражении авторской точки зрения, трудности в оформлении и закреплении ее на основе прозаического текста» [5, 134]. Высказывалось предположение, что это и явилось причиной незавершенности произведения.

Обратившись к форме персонифицированного повествования об объективном разворачивании событий («В числе молодых людей, отправленных Петром Великим... находился его крестник», «Появление Ибраги-

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
ХАРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Г. С. СКОВОРОДЫ

ИСТОРИКО-
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
СБОРНИК

к 60-летию
ЛЕОНИДА ГЕНРИХОВИЧА
ФРИЗМАНА

Харьков
1995